И. Ильин
О ЛЮДЯХ, КОТОРЫХ Я РИСОВАЛ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Шаржи Иосифа Игина широко известны. В этой книге показаны лишь некоторые из тех талантливых, ярких, интересных людей, с которыми художник встречался за три десятилетия своей работы.

Маленькие рассказы Игина не претендуют на многостороннюю, полную характеристику изображаемых лиц, а дают их в наброске, часто с помощью одной детали, метко и точно схваченной. Игин — рассказчик дополняет Игина — художника. Особое место уделено в книге Михаилу Светлову, с которым автора связывали долгие годы дружбы и тесного творческого содружества. В настоящее время автор продолжает работать над серией новых рассказов к своим рисункам.

- Иосиф Игин
  -
  - От автора
  - Рассказы с натуры
    - Дебют
    - Всегда неожиданный
    - Сигареты «Тройка».
    - Мать-эстрада
    - Туда и обратно
    - Искусство и жизнь
    - Братья
    - «Из песни слова не выкинешь»
    - Юбилей
    - Не в бровь, а в глаз
    - Со стороны видней
    - Бдительный критик
    - Каждому свое
    - Трагикомическое…
    - Сикстинская мадонна
    - Говорит, как пишет
    - Не бойтесь собственной тени
    - Право на публикацию
    - Вечное поколение
    - Тройной сеанс
    - Со слезой
    - Право хвалить
    - Праздник остроумия
    - Быть или не быть?

- Улыбка Светлова
  -
  - Неравный брак
  - Горизонт
  -

Иосиф Игин
О людях, которых я рисовал

Посвящается памяти Михаила Светлова

От автора

Наводя порядок в мастерской, я разбирал папки своих зарисовок.

Качалов, Михоэлс, Смирнов-Сокольский, Назым Хикмет, Черемных, Олеша… Этих и многих других замечательных людей мне посчастливилось рисовать. За каждым рисунком встреча, беседа, воспоминание.

В это время ко мне пришли мои друзья и среди них Михаил Светлов.

Я показал им рисунки.

— Интересно, — спросил Светлов,— при каких обстоятельствах ты рисовал Капабланку?

Я рассказал.

— А Качалова?

— А Яхонтова?..

И получилось так, что я целый вечер рассказывал, а друзья слушали.

— А ты запиши эти рассказы,— посоветовал кто-то.

Я отговаривался тем, что никогда не занимался литературой. А вдруг не получится.

— У людей, занимающихся литературой, тоже не всегда получается, — возразил Светлов.

Этот довод меня убедил.

Оправдание перед читателем я вижу в том, что в моих рассказах нет так называемого «авторского домысла». Они так же, как и рисунки, сделаны с натуры.

Рассказы с натуры

Дебют

В двадцать четыре года не приходят в отчаянье от того, что идет дождь, а у тебя рваные ботинки, которые удивительно быстро всасывают воду, что нет денег, и нет никакого представления о том, где ты сегодня будешь ночевать.

Именно в таком состоянии шел я осенним вечером 1934 года по набережной Фонтанки мимо Дома печати.

Меня остановила афиша:

«Экс-чемпион мира Хозе-Рауль Капабланка. Сеанс одновременной игры».

Поднимаясь по лестнице, я старался ступать возможно легче: проклятые ботинки продолжали работать, как два насоса, но уже в обратном направлении.

В большом зале за столиками, составленными в виде буквы «П», сидели, уткнувшись в доски, шахматисты, а внутри этой буквы передвигался от столика к столику Капабланка.

В толпе болельщиков два художника делали зарисовки. Я заглянул к ним в альбомы. Они рисовали шаржи.

Устроившись у одного из оснований буквы «П», я наблюдал постепенно приближавшийся ко мне профиль Капабланки и тоже решил нарисовать шарж.

Было хорошо видно, как Капабланка то останавливался у какого-нибудь столика и, поджав губы, обдумывал ход, то, не задерживаясь, проходил вдоль нескольких столиков и пластичным, как у балерины, жестом переставлял фигуры.

Незаметно сеанс подошел к концу, народ стал расходиться.

Надо было уходить и мне.

Я задержался в фойе, размышляя над тем, куда же идти.

Мои размышления прервал директор Дома печати. Он пригласил художников зайти в кабинет и показать рисунки. Я зашел. На столе лежали два рисунка.

— Я бы выбрал этот,— показал на мой рисунок один из художников и положил свой в папку.

Мы познакомились. Это был Николай Эрнестович Радлов.

Мне уплатили пятьдесят рублей. Нетрудно представить, какой фантастической мне показалась эта сумма, если до этого я получал тридцатирублевую студенческую стипендию.

Теперь я знал, куда идти. Прямым путем я направился в ресторан Дома.

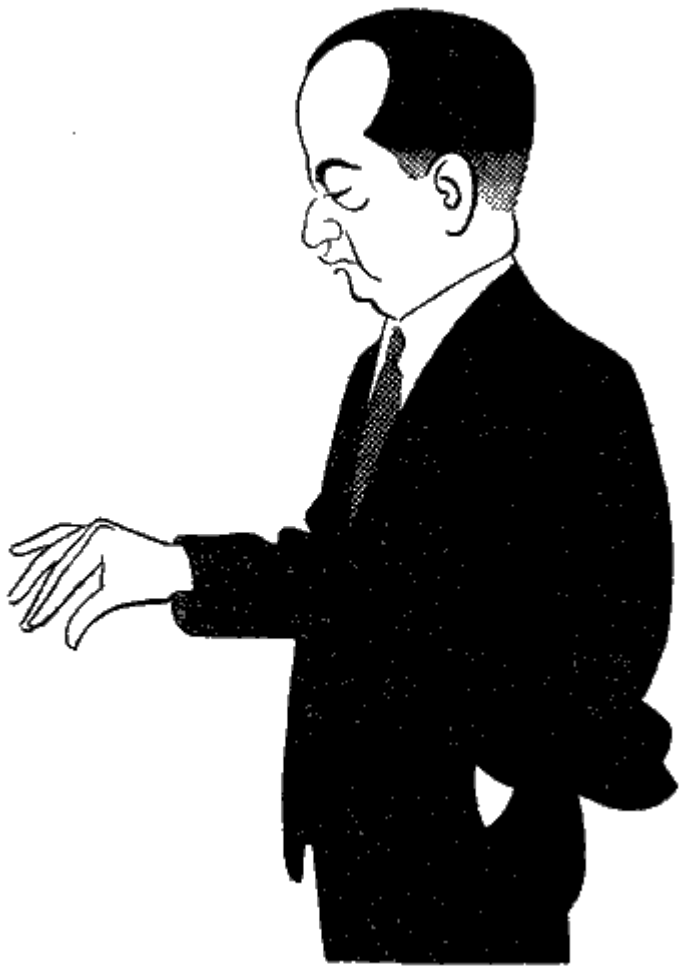
Я уплетал не помню какое по счету блюдо, когда к моему столику подсел директор Дома.

— Не согласитесь ли вы,— сказал он,— нарисовать серию шаржей на известных актеров, выступающих в нашем Доме?

Это был первый «настоящий» заказ.

Других заказов у меня в ту пору не было.

Ночевал я в гостинице на широченной кровати. Я испытывал чувство неловкости перед белоснежными, накрахмаленными простынями за то, что пришлось их измять.



Х. Капабланка

А утром, когда надо было идти в Дом печати и рисовать, мне стало страшновато. Правда, еще в студенческие годы я любил портрет больше других жанров. Но шарж с его гиперболичностью, смещением пропорций и другими особенностями — интересно, а хватит ли пороху? Первым пришел позировать известный комедийный актер Б. А. Горин-Горяинов. Ярко выраженная индивидуальность его лица, острый нос, близко поставленные глаза, попыхивающая трубка облегчили мою задачу. После нескольких набросков шарж получился, и я увереннее стал работать над следующим.

А потом меня увлекла работа над поисками характера, именно того характера, который делает шарж более похожим на оригинал, чем просто портрет.

Б. Горин-Горяинов

* * *

За многие годы работы в этом жанре я нарисовал более тысячи моих современников, и среди них — интереснейших людей искусства и литературы, наблюдал их, смотрел в спектаклях и концертах, читал их произведения и со многими подружился.

И кто знает, как сложилась бы моя творческая судьба, если бы не встреча с Капабланкой осенним вечером 1934 года на набережной Фонтанки.

Всегда неожиданный

— Два слава могут быть неслыханно сильными, а четыре слова уже вчетверо слабей, — сказал Олеша.

Я любил сидеть с Юрием Карловичем за столиком в кафе «Националь). Он был интересным собеседником, всегда неожиданным. На вопрос: «Что вы больше всего любите писать?» — Олеша шутил: «Сумму прописью».

О себе он с улыбкой говорил: «Старик и море… долгов».

Он находил, что повесть Хемингуэя «Старик и море» сродни гоголевской «Шинели».

Акакий Акакиевич мечтал о новой шинели.

Старик — о большой рыбе.

Ценою тяжелых лишений маленький чиновник стал обладателем шинели.

Ценою тяжелой борьбы старый рыбак поймал рыбу.

Шинель отобрали грабители.

Рыбу обглодали акулы.

Юрий Карлович часто говорил о глубоком гуманизме искусства. Он любил повторять, что «талант — это, кроме всего, великая дружественность одного ко всем».

Однажды, наблюдая маленькую, хрупкую официантку, которая несла на одной руке большой поднос, уставленный супами, бутылками, бокалами, он восхищенно сказал:

— Какой труд надо потратить, чтобы научиться нести это сооружение, и, заметьте, так грациозно.

Он испытывал чувство особенной, восторженной почтительности к людям, умевшим делать то, чего он не умел.

— А так как я почти ничего не умею, — сказал он, — я с уважением отношусь ко всему человечеству.

Когда в космос полетел первый спутник, в газетах началась дискуссия о физиках и лириках.

— Как это можно противопоставлять! — возмущался Олеша. — Если бы Циолковский не был наделен поэтическим воображением, разве он придумал бы ракету?

Ю. Олеша

Юрий Карлович любил синий цвет есенинской поэзии.

— Послушайте только, — говорил он. — «Вечером синим…», «Синие ночи…», «Свет такой синий…»

Я слушал и вдруг увидел в тени, под нависшими бровями Олеши синие, как стихи, глаза. Я сказал ему об этом. Он очень обрадовался.

— Представьте, — сказал он, — это не сразу замечают.

Шарж на него был опубликован в газете «Литература и жизнь».

Когда ему показали газету, он сказал:

— Не может быть, это они ошиблись. Человек, на которого публикуют шарж, должен быть очень популярным.

Последний раз я виделся с Юрием Карловичем в конце апреля 1960 года в Доме литераторов.

Он говорил о том, что каждому из нас не хватает простой, человеческой дружбы.

Теперь, когда я думаю о жизни и смерти Юрия Карловича Олеши, мне вспоминаются похороны нашего общего друга — театрального режиссера Исаака Давидовича Меламеда. Я не случайно упоминаю это имя. Пусть, хоть вскользь упомянутое, оно сохранится для людей. Над гробом говорили много хорошего об ушедшем, о его таланте, о его доброй душе. Юрий Карлович грустно произнес:

— Если бы мы ему сказали все это при жизни, он был бы среди нас еще много лет…

Сигареты «Тройка».

В 1935 году в Ленинграде гастролировал Московский Художественный театр. По заданию журнала «Рабочий и театр» я должен был рисовать Качалова.

Я позвонил Василию Ивановичу по телефону.

Он спросил, когда мне удобнее его принять и как ехать ко мне в мастерскую.

Признаться, этот вопрос меня озадачил. В то время все мое имущество умещалось в двух ящиках письменного стола, а ночлег на редакционном диване газеты «Ленинские искры» казался высшим комфортом.

— Стоит ли вам утруждать себя, — сказал я. — Чтобы сделать журнальную зарисовку, достаточно одного сеанса. Не проще ли нам встретиться в театре или гостинице?

Он пригласил меня к себе в «Асторию».

«Какой будет встреча? — думал я. — Я — неизвестный, начинающий художник. Он — Качалов! Его рисовал сам Валентин Серов…»

…Дверь номера была распахнута. На пороге стоял Василий Иванович. Он настоял на том, чтобы я вошел первым, и стал помогать мне снимать пальто. Я почувствовал себя крайне неловко.

Чтобы как-то скрыть свое смущение, я сунул руку в карман за папиросами и спросил, можно ли закурить.

Надо сказать, что папиросы я тогда курил самые дешевые, тоненькие, так называемые «гво́здики».

— Прошу, — сказал Качалов и потянулся к лежавшим на столе сигаретам «Тройка».

Но тут он увидел мои дешевенькие папиросы.

— Вот, кстати, — сказал он поспешно, — я тоже хочу курить,

а купить забыл.

Он вынул из моей пачки «гвоздик» таким жестом, будто это была, по крайней мере, гаванская сигара. А левая рука его повернулась ладонью к столу, прикрыла сигареты и «незаметно» убрала их со стола.

И мне стало с ним легко и просто.

В. Качалов

Мать-эстрада

Когда я рисовал Смирнова-Сокольского, разговор так часто перемежался остротами, что мне было трудно сосредоточиться.

Происходило это в Театре эстрады, создателем и художественным руководителем которого и был Николай Павлович Смирнов-Сокольский.

В кабинет то и дело входили артисты и сотрудники. Позируя, Николай Павлович решал дела, подписывал бумаги и даже умудрялся просматривать номера программы.

При этом он не переставал шутить и вызывать смех присутствующих.

Н. Смирнов-Сокольский

В кабинет вошел актер, исполняющий лирические песенки. У него было обычное, ничем не примечательное лицо. Но ему хотелось со сцены казаться красивым. Он старательно загримировался, навел румянец, прочертил брови и пришел показаться худруку. Лицо его в гриме стало слащавым и пошлым.

— Как, — спросил он Сокольского, — можно в этом гриме выступать?

— Можно,— ответил Сокольский, — только спиной к публике.

Но вот вошел близкий друг Николая Павловича — артист Илья Набатов. Видно было, что он чем-то расстроен.

— Что-нибудь случилось?—спросил Смирнов-Сокольский.

Немного помявшись, Набатов сказал, что поссорился с женой. Она-де наговорила ему кучу незаслуженных упреков.

— Она имеет право! — немедленно заключил Николай Павлович. — Кто ты такой — ничтожество, жалкий эстрадник! А она — жена знаменитого актера!

Надо ли говорить, что и обиженный супругой артист, и все, кому довелось присутствовать при этой сцене, дружно рассмеялись.

Но вот работа над шаржем подошла к концу. Я показал рисунок. Смирнов-Сокольский реагировал так:

— Нельзя сказать, что вы изобразили меня красавцем. Но видно, что персонаж — весьма неглупый человек. Правда ведь, Илюша? — обратился он за подтверждением к Набатову.

— Не знаю, не знаю, — ответил Илья Семенович, — ты лучше покажи этот рисунок жене. Интересно, что скажет она.

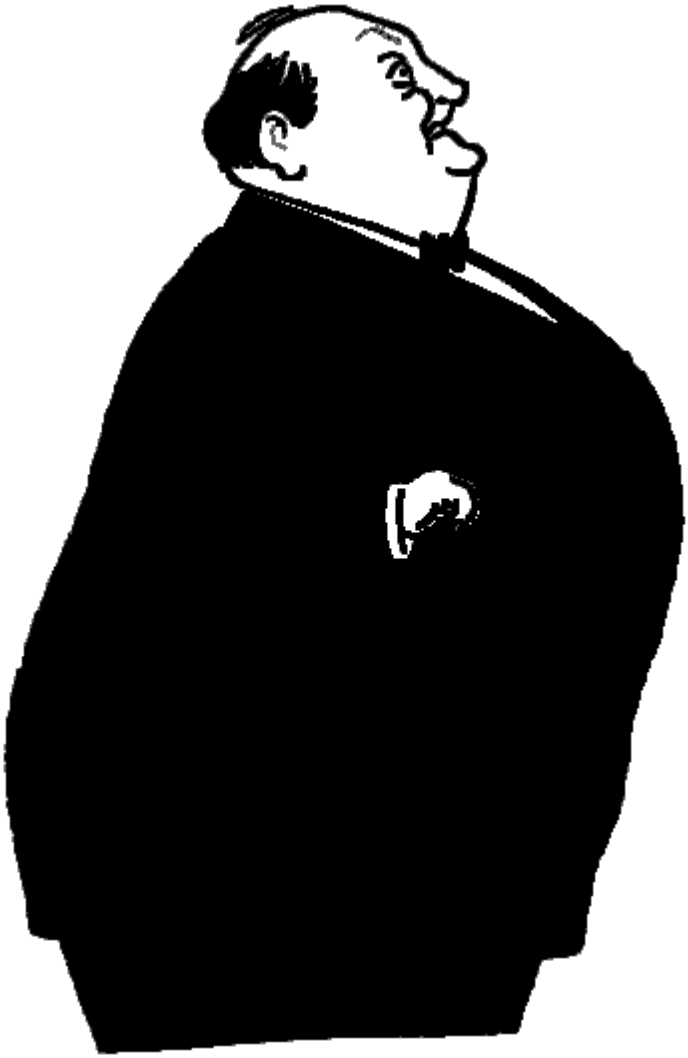
* * *

Как известно, Смирнов-Сокольский был страстным собирателем и знатоком книг. Он даже написал несколько книг о книгах.

Когда ему присвоили звание народного артиста, Николай Павлович пригласил товарищей по работе на дружеский ужин. За столом сидели М. Гаркави, И. Набатов, Л. Миров, А. Безыменский, Л. Ленч… Среди приглашенных был и я.

Мы поздравляли его — кто стихами, кто рисунками. А он дарил нам свою, только что вышедшую книгу о литературных альманахах XIX века.

Л. Миров



М. Гаркави

А. Безыменский

На моем экземпляре Николай Павлович написал о себе:

Что ему от жизни надо —
Деньги, слава, ордена? —
Нет! — Была бы мать-эстрада
В книжной лавке Смирдина.

Туда и обратно

Зарисовку я сделал, как говорится, из-за угла.

Столовая ленинградского Дома писателей. За столиком напротив — Виссарион Михайлович Саянов с молодыми поэтами. Его темно-рыжие усы торчат как у актеров-трансформаторов. Кажется, сейчас он проведет рукой по лицу, и усы исчезнут; а потом проведет опять, и под большим, веселым носом снова возникнут ершистые усы. Столько обаяния в его небритом лице, и в не так сидящем пиджаке и в папиросе, которую он прикуривает, обратив табаком в рот и мундштуком к спичке, что рука моя невольно тянется за карандашом.

Рядом со мной сидит художник Борис Семенов. Он протягивает мой набросок Саянову.

Виссарион Михайлович хохочет, показывает рисунок то одному, то другому собеседнику и, как бы требуя одобрения, проговаривает:

— Правда, хорош, а?! До чего смешон, а похож! Представляю, как будет смеяться Прокофьев!

Мне было приятно, что Саянов так хорошо принял шарж. Но я не понял, почему он при этом упомянул Прокофьева.

* * *

Заседало правление Ленинградского отделения Союза писателей: Гранин, Герман, Дудин, Орлов и другие известные писатели. Не помню, о чем шла речь, но спор был жаркий, и

казалось, конца ему не будет. И вдруг все почувствовали, что обсуждаемый вопрос не заслуживает серьезного отношения.

Председательствующий Александр Прокофьев, подводя итоги спора, заявил, что вопрос-то, в сущности, пустячный а, может быть, вообще никакого вопроса нет.

Все облегченно вздохнули.

М. Дудин

Ю. Герман

С. Орлов

Д. Гранин

— А теперь давайте посмотрим,— и Прокофьев потянулся к моему альбому.

Благополучный конец заседания смягчил требовательность зрителей. Рисунки были одобрены. Больше других Прокофьеву понравился шарж на Саянова. Он смеялся, захлебываясь и вытирая платком глаза.

В. Саянов

Вдруг он ахнул.

— Что это? — воскликнул он. — Смотри! Смотри, что он из меня сделал!

— Ничего особенного, — улыбнулся Дудин, — обыкновенный шарж.

— Очень похож,— сказал Орлов.

Все поддержали.

А. Прокофьев

Александр Андреевич успокоился и сказал:

— Конечно, шарж есть шарж, но, черт возьми, представляю, сколько удовольствия этот рисунок доставит Саянову.

Искусство и жизнь

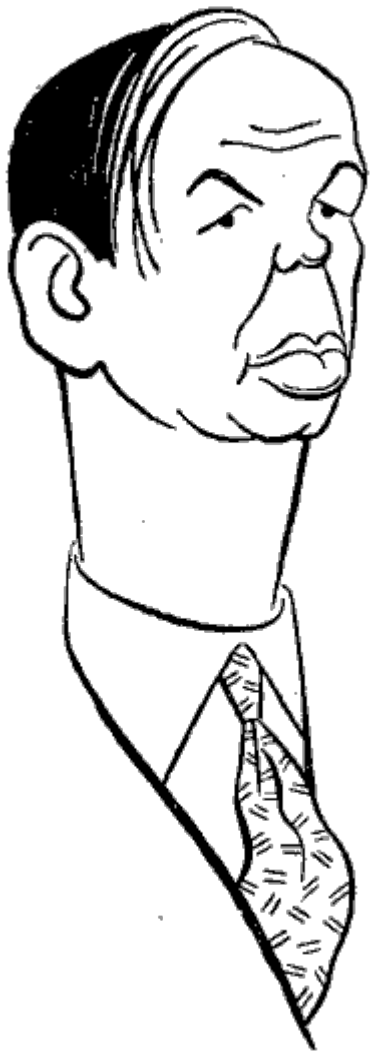
Роль человека в жизни всегда сложнее любой роли, которую можно только себе вообразить на театре.

Ф. Шаляпин

Николая Павловича Охлопкова я рисовал дважды.
Над первым рисунком я работал у него в театре.

Со стен смотрели глянцевитые фотографии актеров. Ретушер сделал все, чтобы лишить их признаков жизни. Морщины убраны, реснички подведены, прически — из-под руки парикмахера. Казалось, от них пахнет тройным одеколоном.

— Нет такой статьи,— сказал Охлопков.



Н. Охлопков (I)

Я не понял.

— В смете нет такой статьи. Я бы развесил в фойе серию

шаржей, а чем платить? Придешь в Комитет по делам искусств — скажут: «Не предусмотрено». А как в искусстве все предусмотреть? А статьи нет…

Оба мы огорчались по этому поводу. Но смета есть смета, и статья есть статья, и, как говорится, лбом смету не прошибешь.

На том разговор и закончился.

Спустя несколько лет я работал над книгой театральных шаржей. Захотелось проверить старый рисунок по натуре.

Встреча состоялась на ходу в перерыве какого-то заседания. Охлопков был уже не только худруком театра, но и занимал большую должность в Министерстве культуры. Он заметно изменился — стал шире, я бы сказал, монументальнее.

В памяти воскресла давнишняя беседа о рисунках для театрального фойе и не предусмотренной в смете любви зрителя к юмору. Но лицо Николая Павловича выражало озабоченность. В том, как он поглядывал на часы, чувствовалось, что он торопится. Мне показалось, что сейчас не время возвращаться к старому разговору о веселом театральном фойе.

Н. Охлопков (II)

Впрочем, может быть, мне это только показалось. Позднее кто-то рассказывал, что после назначения Охлопкова на высокий пост один из его близких знакомых спросил:

— Скажи, пожалуйста, Коля, как ты справляешься с ролью замминистра?

— Чудак, — ответил Охлопков, — я королей играл!

Братья

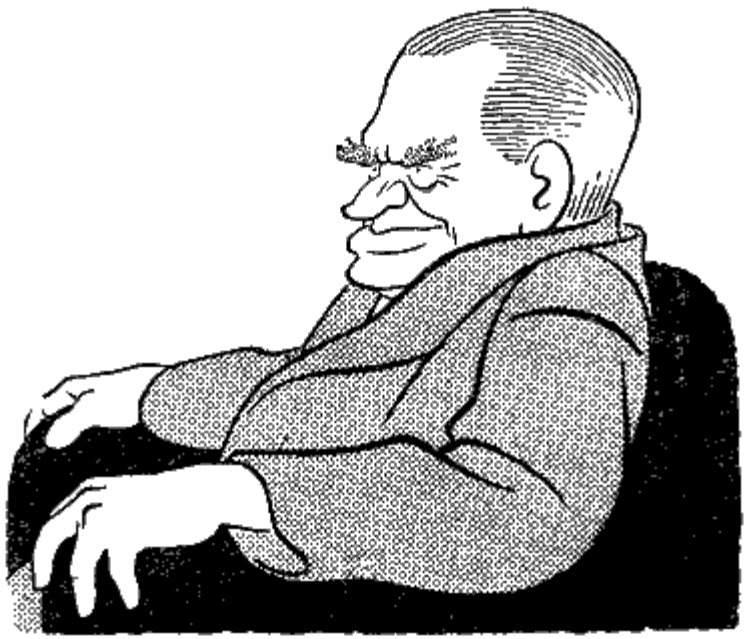
Это было в 1948 году. Я работал над серией театральных

шаржей. Мне надо было рисовать Михаила Михайловича Тарханова. Мы условились встретиться в ЦДРИ.

Я пришел несколько раньше, чтобы найти удобное для работы место. Директор дома Б. М. Филиппов предложил расположиться у него в кабинете. В ожидании Тарханова Филиппов и находившийся тут же Борис Лавренев рассматривали шаржи в моем альбоме.

В условленное время пришел Тарханов. Прежде чем приступить к работе, он тоже захотел посмотреть рисунки. Живо и весело узнавал знакомых. Некоторых по-своему, по-актерски, показывал, пародируя характерные позы и мимику.

Мы с удовольствием наблюдали, сколько легкости и изящества было в этом коренастом, неуклюжем на первый взгляд человеке.



М. Тарханов

Но вот лицо его стало хмурым. Брови сдвинулись и нависли над глазами. Глядя на рисунок, он отрывисто произнес:

— Это Москвин. Я его знаю. Мы с ним вместе в Художественном театре служим.

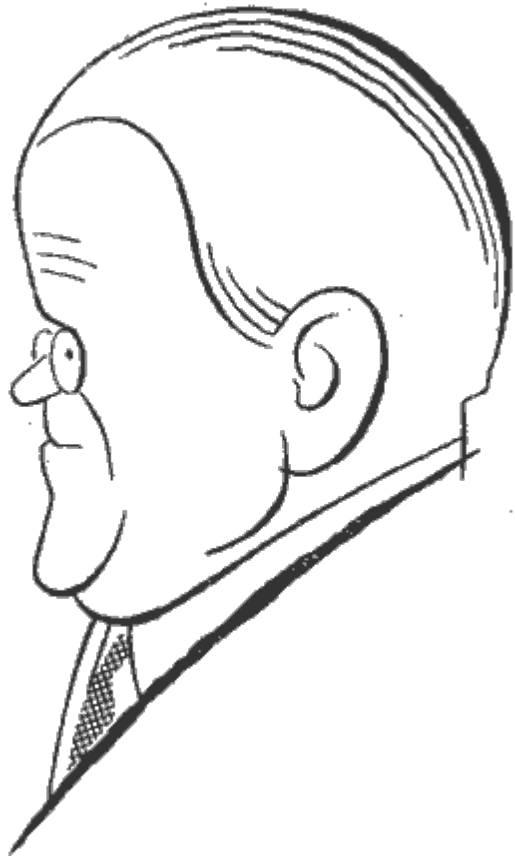
На лбу Лавренева взметнулось много поперечных морщин.

— Как же? — сказал он. — Как же так? Ведь это ваш родной брат?!.

Тарханов, будто не расслышав этой фразы, спросил, как ему надо позировать. Я сказал, что позировать не надо. Пусть чувствует себя свободно, продолжает беседу, а я в это время буду делать наброски.

Б. Лавренев

Разговорить его не удалось. Он сел в кресло и просидел молча минут тридцать, пока я рисовал. Затем встал, посмотрел на рисунок, сказал, что узнает себя, и, заторопившись, стал прощаться.



И. Москвин

Грузно, носками внутрь, дошел до двери, приоткрыл ее, переступил порог, повернулся и долгим, колючим взглядом задержался на Лавреневе…

Вдруг подмигнул, хитровато улыбнулся и, как бы продолжая прерванную фразу, сказал:

— Все люди братья! — и закрыл дверь.

«Из песни слова не выкинешь»

Ленинград тридцатых годов. Улица Ракова. Театр Эстрады и Миниатюр. Художественный руководитель И. О. Дунаевский. Главный режиссер Д. Г. Гутман.

Меня пригласили нарисовать серию шаржей для фойе. Сижу на репетиции. Делаю зарисовки.

Гутман говорит актеру:

— Много жестов. Много мимики! Все это надо экономить, делайте все проще!

— Я ищу зерно, — отвечает актер.

— Это не элеватор, а театр — здесь играть надо! — говорит Гутман. — Понятно?

— Понятно, — отвечает актер и начинает репетировать сначала.

— Много текста! — кричит Гутман. — Где автор? Почему автора нет на репетиции? Надо сократить текст!

— Пойдемте в кабинет, — потихоньку говорит Дунаевский, — я вам расскажу, что это за человек.

Исаак Осипович останавливается на площадке лестницы, берет меня за лацкан и начинает рассказ:

— Однажды с Гутманом был такой случай. Он снимался в фильме «Дети капитана Гранта» в роли полковника, типичного шотландца, с большими бакенбардами.

И. Дунаевский

— Сегодня, — сказал ему оператор, — мы вас будем снимать в профиль. Вы пройдете перед аппаратом и произнесете такой-то текст.

Через пятнадцать минут Гутман был готов. Он загримировал только одну сторону лица — ту, которую видит кинокамера, и наклеил только одну бакенбарду.

— Вот что такое Давид Гутман, — заканчивает свой рассказ Дунаевский. — Дайте ему волю, и он сократит все! Впрочем…

Мы входим в кабинет. Дунаевский садится к роялю.

— Послушайте, — говорит он, — новая песня. Для программы, которую мы готовим.

Д. Гутман

Пальцы его ложатся на клавиши. Он поет:

— Кахо-овка. Кахов-ка, родна-я винтовка…

Голоса никакого. Но поет он взволнованно. Музыка удивительно совпадает с романтической приподнятостью светловских стихов.

Вот он кончает петь и поворачивает ко мне голову. Я вижу

вопросительную улыбку.

— Как вам нравится текст песни? — спрашивает он. — Можно ли здесь что-нибудь сокращать?

— А разве Гутман хотел сокращать?

— Представьте, — говорит Дунаевский. — Он двое суток продержал текст и… — Дунаевский улыбается, открывает папку и протягивает мне листок бумаги. Я вижу напечатанный на машинке текст песни, а под ним, рядом с подписью Михаила Светлова, красным карандашом: «Из песни слова не выкинешь! Давид Гутман».

Юбилей

Я помню Яблочкину главным образом по юбилеям.

Пятидесятилетие,

шестидесятилетие,

семидесятилетие,

восьмидесятилетие…

Эта зарисовка сделана в Доме актера в день ее девяностолетия.

Ее чествовали, поздравляли, вручали адреса, подарки, цветы…

— Вы чудесно выглядите,— сказал ей театральный рецензент Всеволод Шевцов.

А. Яблочкина

— Вы мне льстите, милый, — ответила Александра Александровна. — Разве может хорошо выглядеть женщина… в семьдесят лет?

Не в бровь, а в глаз

— Почти сто лет меня рисуют, — сказал Корней Иванович Чуковский. — Кто только не рисовал на меня шаржей: Репин, Маяковский, Реми, Радлов, Антоновский, Ротов, Кукрыниксы, Ефимов… и обязательно рядом со мной рисуют муху: один — на носу, другой — на темени, пятый — над носом, десятый — над

бровью… Пойдемте ко мне. Я вам покажу.

Корней Иванович показал мне десятки рисунков, и почти в каждом из них обыгрывалась «Муха-цокотуха» либо сама по себе, либо в обществе букашек, таракашек…

— Видите, что делается, — продолжал Чуковский, — и никто не сказал: вот Чуковский, он издавал журналы, редактировал книги, написал двадцать томов комментариев к Некрасову, книгу о Репине, Алексее Толстом, Андрееве, Горьком, множество статей о русском языке, перевел Твена, Свифта, Конан-Дойля, Уитмена…

«Корней Иванович прав, — подумал я, — попробую нарисовать его по-другому».

Я пришел в мастерскую и принялся за работу. Было сделано множество вариантов. Эскизы, один за другим, превращались в клочья и летели в корзину.

И когда я окончательно разуверился в том, что у меня что-нибудь получится, я нашел новое решение — рука машинально нарисовала муху.

К. Чуковский

Со стороны видней

Человек очень редко видит себя таким, каков он есть, а если даже он и узнает себя, то неприятно поражен, когда художник передает его наружность правдиво.

О. Родэн

— Я очень люблю шарж, — сказал Ростислав Плятт. При этом он, смеясь, рассматривал шаржи на своих знакомых.

Увидев шарж на себя, он сказал:

— Да-да…. Я такой… Я узнаю себя…

Он растянул рот в улыбку, но в глазах его была тоска.

Р. Плятт

Бдительный критик

Куда бы я ни отошел, вправо или влево, от них нельзя было спрятаться.

Светлые, как пуля, смотрели мне в глаза глаза красноармейца. Они спрашивали: «Ты записался добровольцем?»

Таким я запомнил плакат Д. Моора времен гражданской войны.

Маленький белорусский городок, где я родился, то и дело переходил из рук в руки.

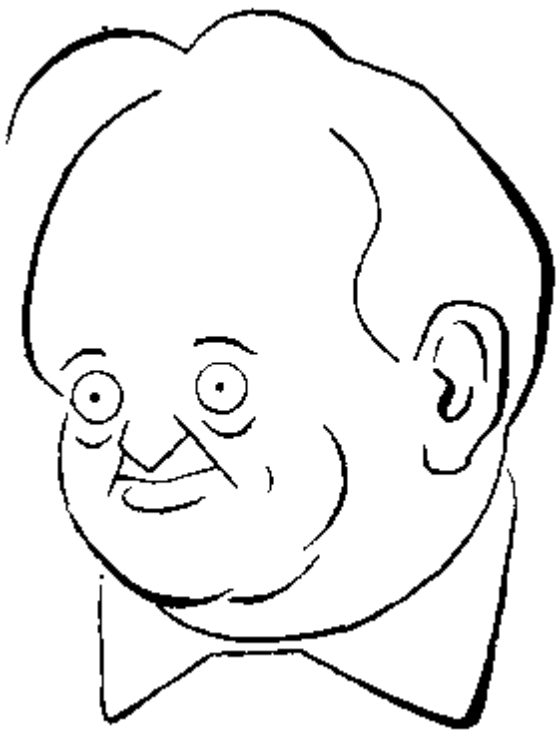
Приходили белые, или немцы, или поляки, и плакат срывали. Но как только городок занимали красные, он опять появлялся на заборе, и глаза человека в буденовке звали в бой.

Спустя годы я, студент Московского полиграфического института, снова увидел эти глаза — живые глаза автора плаката профессора Дмитрия Стахеевича Моора. По глазам я и узнал его. Было ясно, что, торопясь сделать плакат и не имея другой натуры, он рисовал себя.

Меня встретил светлый взгляд широко открытых, но не суровых, как на плакате, а добрых и требовательных глаз учителя.

А еще через несколько лет в Ленинграде, где я жил после учебы, мне позвонили из Дома искусств. Там проходил пленум ЦК профсоюза Рабис. Надо было сделать шаржи на участников пленума.

— Кроме вас, — сказал мне директор Дома, — будет рисовать делегат пленума Моор.



Д. Моор

Я обрадовался случаю повидаться с Дмитрием Стахеевичем.

Он был, как всегда, приветлив, но жаловался на плохие здоровье.

— Ты поработай, — сказал он, — а я пойду в гостиницу, отдохну.

На следующий день я показал ему около десятка зарисовок.

— Вот и хорошо, — сказал Моор, — а меня совсем замучила астма. Вряд ли смогу рисовать. Хватит, пожалуй, для стенгазеты десяти шаржей. Тем более что ты нарисовал всех «китов».

— Но редколлегии, наверное, важно, — сказал я, — чтобы были рисунки с подписью Моора.

— Чепуха!.. А впрочем, если уж так, — улыбнулся Дмитрий Стахеевич, — давай я подпишу несколько рисунков. Пусть не тормошат больше ни тебя, ни меня.

Он подписал, не выбирая, три рисунка.

В перерыве совещания шаржи висели в фойе на стендах. Собралась толпа. Мы с Дмитрием Стахеевичем подошли тоже. Среди зрителей был искусствовед С.

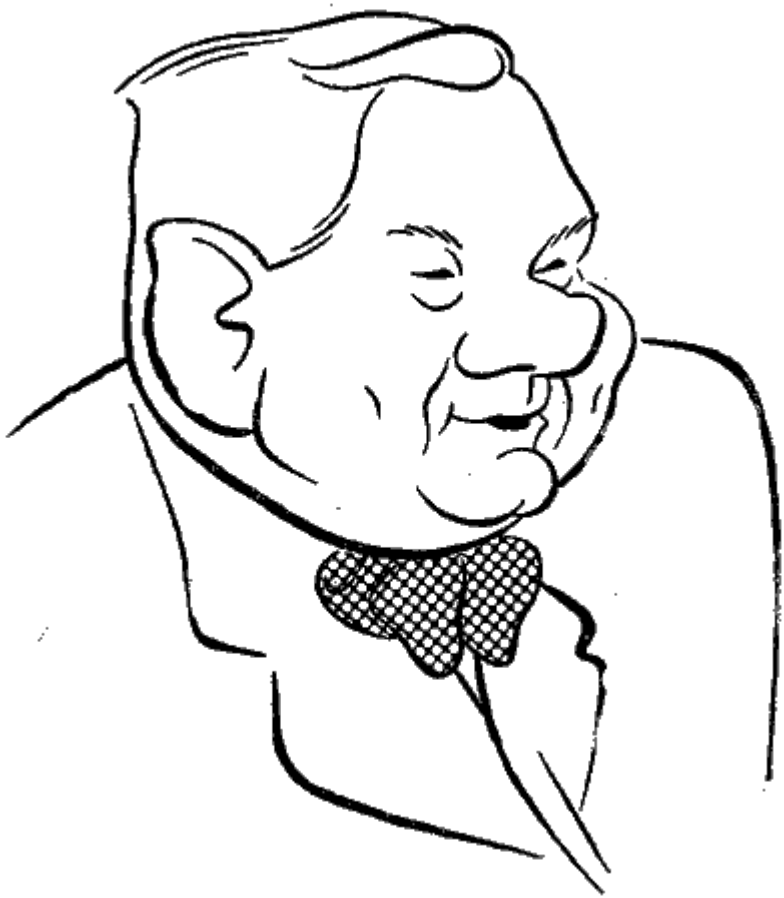
— Вот видите,— сказал он, показывая на рисунки с подписью Моора, — сразу чувствуется рука мастера. А здесь, — жест в сторону остальных рисунков, — здесь еще надо работать и работать.

Особенно досталось шаржу на Ю. Толубеева.

— Обратите внимание, — сказал С., — характер не выражен, плечо не на месте…

Моор посмотрел на меня.

Я увидел глаза, запомнившиеся мне на плакате, — светлые, круглые, призывающие стрелять.



Ю. Толубеев

— Простите, — сказал он, — мы рисовали этот шарж вместе, но я второпях забыл подписать его.

Он вынул из кармана карандаш и поставил свою подпись рядом с моей.

Глаза его потемнели, веки сблизились в улыбке.

Дмитрий Стахеевич тронул меня за руку а сказал:

— Пойдем…

Каждому свое

1950 год. Заседание редколлегии журнала «Октябрь». Рисую

Федора Ивановича Панферова. Обсуждают повесть писателя К. (человека уже почтенного возраста). Общее мнение: повесть слабая — печатать нельзя.

Один из обсуждающих: А ведь писателя К. тридцать лет назад за достоинство стиля хвалил Горький.

Панферов: Беда К. в том, что он в это поверил. А вот меня, с легкой руки Горького, тридцать лет ругают за недостатки стиля. А я не верю.

Ф. Панферов

Трагикомическое…

Почти всегда, когда я встречал Владимира Яковлевича

Хенкина, он заводил разговор о том, как надо исполнять трагические роли. Либо критиковал разных Гамлетов, Арбениных, Лиров, либо объяснял и показывал, как бы он их играл.

Была какая-то одержимость в том, что, самим богом созданный для комедии, Хенкин упорно изучал и обсуждал роли, не свойственные его амплуа.

— Вы, дорогой, не удивляйтесь, — говорил он, словно оправдываясь, — комиком может быть только актер, понимающий природу трагического.

Однажды Театр сатиры показывал в Доме актера отрывки из водевиля «Лев Гурыч Синичкин».

Хенкин гримировался в кабинете директора. Зеркало было расположено над высоким камином. Чтобы видеть свое отражение, низенький, раздетый до пояса Хенкин уселся на спинке стула.

— Посмотрите на этого Аполлона, — позвал меня в кабинет известный конферансье А. А. Менделевич. — Вы не находите, что он просится на карандаш?

Я сделал зарисовку.

Загримировавшийся Хенкин долго рассматривал шарж, затем молча пошел на сцену.

В. Хенкин

В антрактах он был неразговорчив.

И уже после концерта, сменив костюм Синичкина на свой, обычный, он попросил еще раз показать рисунок.

— М-да, — сказал он сокрушенно, — с такой фигурой Фердинанда не сыграешь.

Сикстинская мадонна

На тематических совещаниях в редакции журнала «Крокодил» художники всегда что-то рисуют. Либо эскизы к теме, либо друг друга. Во время таких совещаний я несколько раз рисовал Михаила Михайловича Черемных.

Однажды, взглянув на мою зарисовку, Михаил Михайлович сказал:

— Я каждый день тщательно причесываю свою шевелюру, а вы ее настойчиво не замечаете, — и пририсовал поперек лысины три волоска.

Высокий, не по годам стройный, размашистый, улыбающийся, он был прост в общении с молодыми, никогда не подчеркивая своего превосходства.

Как-то ему показали рисунок неизвестного начинающего художника и спросили, какого он мнения о способностях автора.

— Видно, что способный парень, — сказал Михаил Михайлович. — Но чтобы стать художником, надо много поработать.

А. Менделевич

Рисунок повернули обратной стороной, где стояла фамилия автора. Все дружно рассмеялись. Это был рисунок раннего Черемных.

Как-то, жарким летним днем, прогуливаясь по Тверскому бульвару, я встретил Михаила Михайловича. Я никогда не видел его таким нарядным. Казалось, складки брюк еще хранили тепло утюга. Пиджак был застегнут на все пуговицы, начищенные ботинки отражали небо.

Он шел, высоко подняв голову, торжественный и сосредоточенный.

Михаил Михайлович не заметил меня.

Я пошел за ним следом. Пройдя почти весь бульвар, уже возле Никитских ворот я окликнул его.

Он вздрогнул, остановился, не узнавая, взглянул на меня, снял очки, протер их платком, потом надел, еще раз посмотрел на меня, схватил за руку и стал трясти ее.

— Что с вами, — спросил я, — вы какой-то не от мира сего.

— Да, — ответил Черемных, — это вы верно… действительно не от мира сего…

Был я сегодня на просмотре Дрезденской галереи. Что ни зал — полно чудес. Можно годами смотреть. А меня нетерпение гложет: когда же, думаю, до Сикстинской дойдем. Столько о ней слышано, столько читано, четыре столетия столько разговоров… Какая же она?

Наконец пришел.

Стою и… глазам не верю. Она! Конечно же — она! Сотни репродукций видел. Знал ведь, что такая. И все же — увидел неожиданное. Так просто, так спокойно, что даже растерялся.

М. Черемных

И люди рядом — возле других картин — спорили, делились мнениями. А тут — смотрят и молчат. Словно не она перед ними, а они перед нею.

Прошло, может быть, минут двадцать, а может быть, два часа. Я вышел из музея.

А меня будто кто за руку взял и назад ведет.

Только мне не по себе, словно что-то не так сделал.

Посмотрел я на свои запыленные ботинки, неглаженые брюки, и неловко мне, стыдно стало — как же это я так?

Ушел домой. Побрился, переоделся и теперь вот… иду…

Говорит, как пишет

Мне давно надо поговорить с Ираклием Андрониковым по чрезвычайно важному делу.

Мы несколько раз уславливались о встрече. И встречались. Но каждый раз, едва я открывал рот, чтобы изложить суть дела, он уже говорил.

Закончив одно, он сразу начинал рассказывать другое, третье, четвертое…

И. Андроников

Я мог бы здесь привести множество услышанных от него историй.

Но, во-первых, он их публикует, и каждый может это прочесть. Во-вторых, на театральных тумбах всегда красуются афиши о выступлениях Андроникова, и каждый может услышать эти истории из его собственных уст.

Он сам как-то сказал:

— Если бы я оказался перед выбором: купить ли свою книгу или послушать свое выступление, я, конечно, выбрал бы… оба варианта.

Поговорить нам так и не удалось.

Я успел пока только нарисовать его.

Не бойтесь собственной тени

Соломон Михайлович Михоэлс беседовал с корреспондентом не помню уже какой газеты. Начала беседы я не застал.

Михоэлс ходил по кабинету, лысый, взъерошенный.

— …Они меня упрекают в «МХАТОедстве», — говорил он. — Какой же я «МХАТОед»?» Разве я не говорю «учитесь у Станиславского?» Но чему? Учитесь быть самим собой! Учитесь искать! Учитесь не бояться собственной тени!

— Представьте, — сказал Михоэлс, — такую картину. По залитой солнцем земле идет человек. Впереди человека движется тень. Человек поворачивает влево. Тень идет рядом с ним. Человек снова поворачивает. Назойливая тень остается позади, но следует за человеком неотступно.

Вот человек вступает в тень большого дома, и его маленькая тень исчезает.

Кажется, ничего особенного не случилось?

Нет! Случилась большая беда!

На человека перестало светить солнце.

* * *

После одного из частых в те годы совещаний по искусству я встретил Михоэлса у входа в ВТО. Выйдя из Дома актера, он остановился, оглядываясь по сторонам, будто ждал кого-то.

— Проводите меня до театра, — сказал он, увидев меня.

Мы пошли по бульвару в направлении Бронной улицы.

Была осень 1947 года. Бульвар продувало резким сквозным ветром. Под ногами хлюпали лужи. Михоэлс не обходил их. Пальто его было распахнуто.

— Вы простудитесь, — сказал я. — Застегните пальто.

— Да-да, — сказал Михоэлс, — так можно и простудиться.

Он застегнул пальто на все пуговицы и даже поднял воротник. Пальцы зажали обшлага рукавов и втиснули их глубоко в карманы. Нижняя губа обняла верхнюю и потянулась к носу. Видно было, что он чем-то серьезно озабочен.

— Жаль, — сказал он, — что скверная погода. Я бы вас повел смотреть, как кормят зверей. Это очень интересное зрелище.

Увидев мой недоуменный взгляд, Михоэлс сказал:

— Однажды, после весьма серьезного совещания я попал в зоологический сад. Это было в тот час, когда кормят хищников. Перед тем как принесли еду, они метались в клетках. Из пасти текла слюна. Действовал условный рефлекс. Но вот в клетки бросили мясо. Звери не сразу начали его есть. Они

подкрадывались, прыгали, ударяли лапой, играли с ним. И, только наигравшись, пожирали.

С. Михоэлс

Но в одной из клеток жил старый лев. Он лежал спиной к решетке. Когда под решетку сунули мясо, он открыл большой желтый глаз и ждал, пока человек, принесший еду, уйдет. Затем медленно подошел к туше, примостился поудобнее, положил на нее лапы, разодрал и стал есть. Насытившись, он ушел в свой угол, ни разу не взглянув на зрителей за решеткой, улегся к ним спиной и заснул.

Михоэлс внезапно умолк, как будто оборвал себя на мысли, которую не хотел произнести вслух.

Мы молча подошли к театру.

У подъезда Михоэлс выдернул руки из карманов и, разведя их ладонями кверху, сказал:

— Молодые еще играли в свободу…

Право на публикацию

Как известно, автор исторического романа «России верные сыны» Лев Никулин написал множество мемуарных книг, в том числе книгу о Шаляпине.

Читая эту книгу, я подумал, — как много нового узнал бы о себе великий певец, окажись он читателем Никулина.

Я нарисовал Шаляпина с портретом Никулина в руке и сделал под рисунком подпись: «Не припомню».

Вечером в гостиной Дома литераторов писатели Владимир Масс и Михаил Червинский смеялись, глядя на рисунок.

В этот момент появилась благообразная фигура Никулина. Белые волосы нимбом светились на розовой голове.

— Что вы собираетесь с этим делать? — воскликнул он.

В. Масс и М. Червинский

— Завтра, — сказал я, — отдам в «Литературную газету».

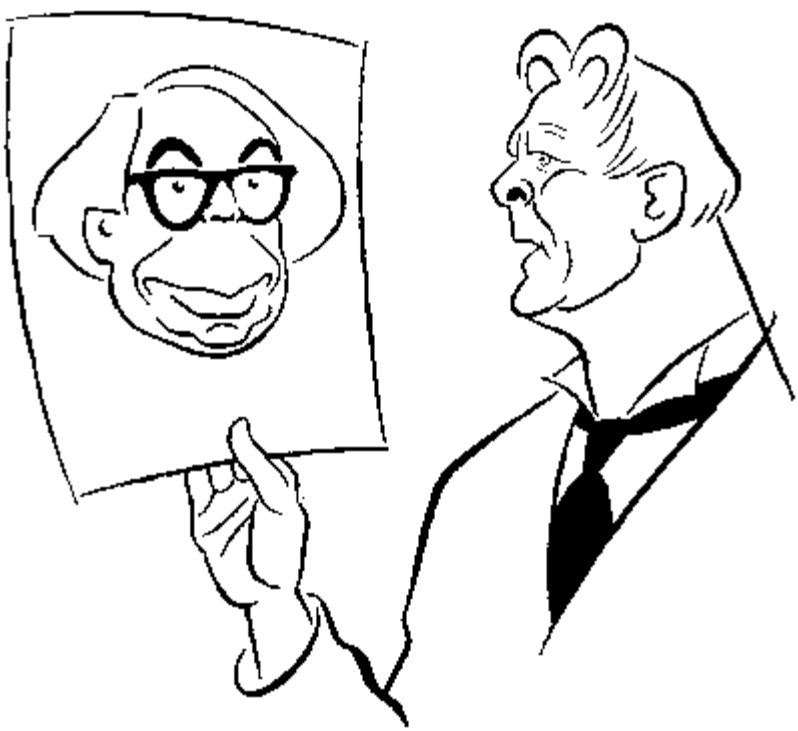
— Тем более, — добавил Масс, — что у нас с Червинским готова эпиграмма, — и прочитал:

Он вспоминать не устает,

И все, что вспомнит,— издает,
И это все читать должны
России верные сыны.

— Вы меня погубите, — сказал Никулин. — Я только что подал заявку на переиздание книги. Если шарж опубликуют — переиздание горит.

Признаться, я рисовал с намерением всего лишь пошутить. Видя искреннюю тревогу Льва Вениаминовича, я обещал рисунка не публиковать.



Л. Никулин

Прошло много лет. Книга о Шаляпине переиздана несколько раз.

Просматривая ее недавно, я, как и несколько лет назад, поймал себя на мысли: а что, если бы это прочитал Шаляпин?

Я вспомнил старый рисунок и решил, что теперь его можно опубликовать.

Тем более, что Никулину это уже ничем не грозит.

Вечное поколение

«Назым» в переводе с турецкого означает «слагающий стихи». Так мне сказал старый журналист Леня Коробов. Я нарочно не проверял в словаре, мне хочется, чтобы это было так.

После многих лет заточения в стамбульской тюрьме Назым Хикмет приехал в Москву. Тогда я и увидел его впервые. Это было на приеме, устроенном в его честь Союзом писателей.

Он сидел за столом, рядом с Фадеевым — оба высокие, стройные, светлоглазые. Фадеев по-молодому седой, а Хикмет с вьющимися волосами цвета натуральной сиены.

То ли потому, что он неуверенно владел русской речью, а быть может, оттого, что за многие годы, проведенные в тюрьме, отвык от общения с людьми, — он больше слушал, чем говорил. Но это не отдаляло его от собеседников. Наоборот, казалось, что он давно и близко знает всех присутствующих.

А. Фадеев

Летом 1962 года состоялось личное мое знакомство с Назымом Хикметом. Я рисовал Хикмета в дни его шестидесятилетия. Рисунок московские писатели преподнесли ему на юбилейном вечере.

Он пришел в мастерскую усталый и жаловался на сердце. Но, обнаружив во мне собрата по валидолу, оживился. Мы, как говорится, нашли общий язык.

Хикмет увидел шарж на Евгения Винокурова.

— Я люблю этого поэта, — сказал он. — У него глубокие мысли и простая форма. Форма…— Хикмет задумался, — как

капроновый чулок: подчеркивает рисунок ноги, но сам незаметен.

Н. Хикмет

Е. Винокуров

В ту пору было много разговоров о так называемых поколениях в поэзии.

— Какого поколения, например, Маяковский, — сказал Хикмет, — молодого, среднего, старшего?.. По-моему, в поэзии есть одно поколение — вечное, всегда современное.

На этот раз Хикмет говорил по-русски свободно, хотя и с заметным акцентом. Он рассказывал о своих путешествиях, о встречах с Пикассо, Нерудой, Гильеном…

— Почему, — спросил я, — вы не напишете книгу об этих людях?

— Написать, конечно, можно, — ответил Хикмет. — Но мне еще предстоит встречаться с ними. Может быть, самое интересное — в будущих встречах. Если они будут знать, что я о них пишу, общение потеряет непосредственность.

Но главное, — добавил он, — в таких рассказах приходится говорить и о себе. А кто знает себя настолько хорошо, чтобы написать о себе правду?

Тройной сеанс

Абдулова неожиданно вызвали выступать по радио, и он приехал ко мне часа на два позже условленного времени.

Ярон был по каким-то делам поблизости от гостиницы «Москва», где я тогда жил. Чтобы лишний раз не ездить, он решил зайти ко мне раньше. А Максим Дормидонтович Михайлов прибыл в точно условленное время. И получилось так, что все трое пришли одновременно.

Признаться — я был озадачен.

Рисовать сразу троих невозможно. А тут — все «народные». С кого начинать? Как бы кого не обидеть.

Григорий Маркович Ярон — он все понял — показал углом глаза на Михайлова:

— Начните с него. Он народный СССР, а мы рангом пониже. Мы подождем.

А Максим Дормидонтович как вошел, руки на животе сложил и стоит — ну прямо как на сцене. Именно в этой позе я видел его в спектаклях и концертах.

Казалось — взмахни палочкой дирижер или ударь по клавишам аккомпаниатор, и пойдут гнуться колонны под натиском знаменитых Михайловских низов.

Вижу — позу искать нечего, все ясно. И лицо характерное. Легко на шарж ложится. Остается только рот на низкой ноте поймать.

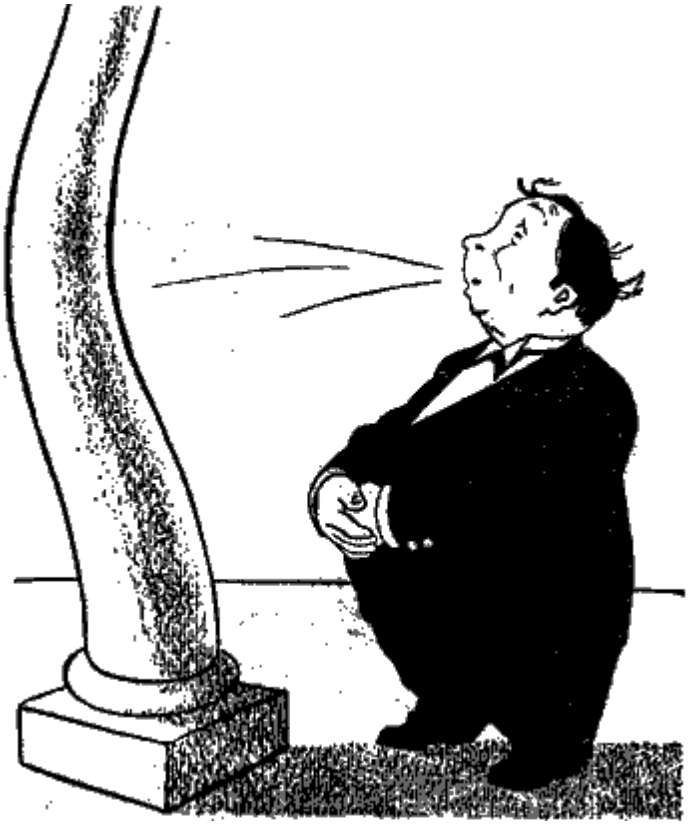
Объяснил я ему свою задачу и попросил петь. Он не тенор, ломаться не стал: раз для дела нужно — пожалуйста.

Он поет, а я, как до низкой ноты дойдет, тороплюсь — рот рисую.

Тут опять пришел на помощь Ярон.

— Ты, Максим,— сказал он,— возьми нижнее «фа» и веди сколько духу хватит. А вы, — подмигнул он мне, — вы не торопитесь. Он это «фа» хоть до утра тянуть может.

Пока я рисовал, Осип Наумович Абдулов рассказывал, как его из Художественного театра уволили. Теперь, уже много лет популярный и любимый зрителями актер, он вспоминал эту давнишнюю историю без огорчения и даже с юмором.



М. Михайлов

А дело было так:

Началу артистической карьеры Абдулова мешало то, что он был хромым. Но его дарование было настолько ярким, что зритель, захваченный игрой артиста, забывал об этом недостатке. Молодой актер решил поступить в труппу Художественного театра. Приняли его условно. Решающее слово оставалось за Станиславским.

О. Абдулов

Константин Сергеевич был болен. Он работал с актерами у себя дома, но иной раз заглядывал и в театр. Приехал он как-то на репетицию, посидел, посмотрел и говорит режиссеру:

— Хорошо в толпе этот актер играет. Сразу видно, что понял «систему», у него совершенно по-мхатовски получается. Что-то я его не помню. Как фамилия?

— Абдулов, — ответил режиссер. — Он недавно поступил. Мы еще не успели вам его показать.

— Мне он нравится, — сказал Станиславский. — Передайте ему, что я его считаю «нашим».

Абдулов был счастлив, узнав, что сам Станиславский похвалил его.

Прошло несколько месяцев.

Константин Сергеевич снова посетил театр, и опять во время репетиции. Только другой пьесы. Абдулов и здесь был занят в

какой-то маленькой роли.

Станиславский подозвал его к себе, приветливо поздоровался, а затем сделал замечание:

— Вы, конечно, очень хорошо это делаете, но нельзя же, голубчик, совершенно одинаково хромать в двух разных спектаклях.

Когда Станиславский узнал о настоящей хромоте Абдулова, он сказал режиссеру:

— Это уже, сударь мой, ни в какие ворота не лезет. Может быть, этот актер — гениальный?

— Гениальным его не назовешь, но он безусловно талантлив, — ответил режиссер.

— Ну, знаете, — заявил Станиславский, — чтобы служить в Художественном театре с таким недостатком, надо быть гениальным.

— На этом, — сказал в заключение своего рассказа Абдулов, — и закончилась моя карьера во МХАТе.

— Это что! — воскликнул Ярон.— А вот у меня был случай! Летом одна тыща девятьсот семнадцатого года я работал в петроградской оперетте. Играли мы в открытом театре зоологического сада. Сезон открыли «Графом Люксембургом». Я был занят в очередь с комиком С. Второй спектакль играл он. А потом меня стали назначать во все спектакли подряд. Играю день, играю два, играю неделю… Ну прямо ни одного свободного вечера. Прихожу к антрепренеру.

— Здрасте, — говорю, — как же это так получа…

— Так и получается, — перебил антрепренер, явно ожидавший моего визита, — только я ничего не могу поделать.

Г. Ярон

— Но С. не такой уж плохой актер, — возразил я, — почему вы его не занимаете?

— Я тоже считаю, что он неплохой актер, но бегемоты о нем иного мнения.

— Не понимаю: какая связь между бегемотами и моей просьбой о соблюдении очереди?

Связь оказалась простой.

У С. был на редкость пронзительный голос; кроме того, он старался на сцене разговаривать как можно громче. От его крика в расположенном рядом с театром вольере просыпались бегемоты и принимались реветь. Нетрудно представить, что происходило со зрителями.

Вот от чего иногда зависит карьера опереточного комика.

— М-да, — прогудел Максим Дормидонтович.

Можно было подумать, что за этим последует рассказ о каком-нибудь курьезном случае из его актерской жизни.

Но внимание его было занято за рисовками.

— М-да, — повторил он, — Абдулова и Ярона вы схватили, а вот я, кажется, не очень-то.

— Не могу сказать, что я в восторге от своего портрета, — возразил Абдулов, — зато Ярон и Михайлов удались.

— А день-то у меня сегодня зоологический, — лукаво сказал Ярон, — слушаю я вас, и на память приходит старая басня с зеркалом.

Ярон еще раз посмотрел на рисунки и уже серьезно добавил:

— Но если по правде сказать, мне кажется, вы оба похожи, а я — нет.

Со слезой

Я получил задание редакции сделать зарисовки двух-трех участников нового спектакля в театре имени Пушкина (б. Александрийский). Было это в тридцатых годах. В ту пору рядом с широко известными мастерами старшего поколения Е. П. Корчагиной-Александровской, В. А. Мичуриной-Самойловой, Ю. М. Юрьевым, Л. С. Вивьеном, К. В. Скоробогатовым на сцену этого театра уверенно вышли молодые — Н. Черкасов, А. Борисов, В. Честноков и другие, впоследствии прославленные актеры.

Увидев такое созвездие талантов, я не смог ограничиться несколькими зарисовками и, получив разрешение бывать в артистическом фойе, пополнял свой альбом все новыми и новыми шаржами.

Актеры по-разному относились к моей работе.

Я не знаю, помнит ли Н. К. Черкасов, как он старался мне помочь, рассказывая со свойственным ему юмором об асимметричности своего лица, длине рук.

Ю. Юрьев

В. Мичурина-Самойлова

Л. Вивьен

К. Скоробогатов

Н. Черкасов

В. Честноков

Юрий Михайлович Юрьев рассказывал о художниках «Сатирикона» и принес шарж на себя, сделанный на него знаменитым Реми.

К. В. Скоробогатов, окинув меня разбойничьим взглядом, предложил пойти в кафе «Норд» распить по бокалу вина и там, заодно, сделать рисунок.

Вскоре в артистическом фойе была устроена маленькая выставка.

У большинства актеров шаржи вызывали улыбки и шутки. И лишь тетя Катя (так ленинградцы называли Е. П. Корчагину-Александровскую) утирала платком слезы.

«Не может быть, — подумал я, — неужели обиделась?»

Е. Корчагина-Александровская

Но она тронула меня за рукав и, всхлипывая, сказала:

— Ты, милок, не подумай: нас, актеров, зритель знает, пока мы на сцене, пока живем. Ему надо напоминать о нас рисунками, фотографиями… Рисуй нас, голубчик. Конечно, лучше, чтоб это были не шаржи. Но что поделать, если ты по-настоящему не можешь.

Право хвалить

В исполнительской манере Леонида Осиповича Утесова есть

одно обаятельное свойство —каждому зрителю кажется, будто артист выступает только для него.

— Однажды, во время гастролей в одном из южных городов, — рассказывает Утесов, — произошел такой эпизод. В антракте пришел за кулисы приветливый, улыбающийся человек.

— Здравствуйте, дорогой Леонид Осипович, — сказал он тоном старого знакомого. — Давненько мы не виделись. Как поживаете? Как себя чувствуете?

Утесов ответил на его приветствие, поблагодарил за внимание, сказал, что на здоровье не жалуется. При этом он испытывал чувство неловкости от того, что никак не мог припомнить, где и когда они познакомились.

— Да, — сказал Утесов, — действительно много времени прошло. Напомните мне, пожалуйста, когда мы виделись в последний раз?

— Это нетрудно вспомнить, — ответил гость. —Вы в нашем городе выступали двенадцать лет назад. Я тогда сидел в девятом ряду. Неужели забыли?

* * *

Когда я показал Леониду Осиповичу рисунок, он сказал:

— Увидеть шарж на себя, — это, примерно, то же самое, что услышать впервые свой голос, записанный на граммофонную пластинку. Совершенно не похоже на то, чего ожидаешь.

— Интересно, — спросил я, — как вам показался ваш голос?

Л. Утесов

— Хм, — произнес Утесов, — откровенно говоря, я был о нем лучшего мнения.

* * *

В Театре эстрады происходили отборочные просмотры новых номеров. Актеры, особенно молодые, буквально трепетали перед грозным председателем жюри Н. П. Смирновым-Сокольским. Зато присутствие Л. О. Утесова успокаивало выступающих. Они всегда надеялись на его поддержку.

Актер Н. показал интересный, но не вполне доработанный

номер. Мнения жюри разделились. Ждали, что скажет Сокольский. Лицо Николая Павловича не предвещало ничего хорошего.

Вдруг раздался голос Утесова.

— Коля, — сказал он, — не надо ругать. Ты уже давно заслужил право хвалить.

Сокольский улыбнулся.

После небольшой доработки номер актера Н. был принят и шел с большим успехом.

Праздник остроумия

В Центральном доме литераторов заседает пленум Союза писателей.

Группа художников и поэтов выпускает сатирическую газету «Взирая на лица». Эмиль Яковлевич Кроткий придумывает темы для карикатур, сочиняет эпиграммы, пародии, афоризмы.

Вот некоторые из них:

* * *

Писал критические подвалы. Ни одного критического небоскреба у него не было.

* * *

Так часто менял свою точку зрения, что она превратилась в многоточие.

* * *

У него тоже был соавтор — он писал с грехом пополам.

* * *

Хваля автора, перевирают его фамилию. Браня — никогда.

* * *

Хороший писатель боится быть непонятым. Плохой — опасается, что его поймут.

* * *

Есть люди, в присутствии которых невежливо быть талантливым.

* * *

«Отрывки» следуют один за другим. Возле газеты больше народу, чем в зале. Газету фотографируют и переписывают в записные книжки.

Многие смеются, но есть и недовольные. А. задела острая эпиграмма, Б. считает слишком злым шарж. Кто-то требует снять газету.

В ответ появляются новые две строчки Кроткого:

Бойтесь кричащих «Сатиру долой!»:
Мусор всегда недоволен метлой.

Вечером после веселого и утомительного рабочего дня прогуливаемся пешком, провожая Кроткого домой. Живет он на Пушкинской площади возле Дома актера. Кто-то предлагает зайти в кафе Дома актера выпить по чашке кофе. В переполненном кафе занимаем единственный свободный столик.

Э. Кроткий

К нам подходит директор кафе.

— Прямо беда, — говорит он озабоченно, — пришел Вертинский, а у меня ни одного свободного столика. Нельзя ли подсадить его к вам?

Близко я вижу Вертинского впервые. Он похож на большую старую птицу с маленькой крючконосой головой.

Кроткий пристально рассматривает его длинные, желтые пальцы, берет бумажную салфетку и что-то на ней пишет.

В то время на экране появился фильм «Заговор обреченных» с Вертинским в роли кардинала. Вертинский рассказывает, с каким увлечением он работал над ролью, и спрашивает, понравился ли нам фильм.

В ответ Кроткий протягивает салфетку. На ней написано:

Вы перед зрителем кино
Предстали в образе негаданном:
Вы — кардинал. Не мудрено,
Что ваши пальцы пахнут ладаном.

— А вы обратили внимание, — говорит Вертинский, — как пресса хвалит мою работу?

На следующий день в нашей сатирической газете появляются четыре строчки. Кроткий не указывает, кому они адресованы. Но мне ясна причина их возникновения. Вот они:

Пусть тебя захваливают дружно,
Зазнаваться все-таки не нужно.
Но нельзя при этом не сознаться,
Что нельзя при этом не зазнаться.

Таков Эмиль Яковлевич Кроткий, общение с которым всегда было праздником остроумия.

А. Вертинский

В последний день своей жизни он сказал:

Чему дивиться?
Врач не бог —
Пришел. Увидел.
Не помог.

Мне хочется закончить рассказ его же словами:

Он был тщеславья чужд едва ли,
Но был застенчив и умен.
«Вас слава ждет», — ему сказали.
«Пусть подождет», — ответил он.

Быть или не быть?

Мы познакомились в 1947 году. Михаил Федорович Астангов пригласил меня к себе на Большую Калужскую. На круглом столе стояли графинчик коньяку, две рюмки и тарелка с нарезанным и посыпанным сахарной пудрой лимоном.

Меня поразил его острый, стремительный, даже несколько пугающий взгляд. Сразу, с первого мгновения нашей встречи стало ясно, что его надо рисовать обязательно в движении. Даже когда он сидел за столом, спокойно беседуя, казалось, что в нем заключена туго закрученная пружина, готовая вот-вот раскрутиться с неудержимой силой. И в голосе его чувствовалась натянутая струна — тронь, и она зазвучит во всю свою тревожную силу.

Я присматривался к нему, выискивая наиболее интересный для рисунка ракурс.

— Вот вы говорите, что у меня счастливая актерская судьба, — говорил Астангов, — что я сыграл много интересных ролей. На первый взгляд это действительно так. Но у каждого актера есть заветная роль, о которой он мечтает всю жизнь. Я еще не сыграл своей заветной роли.

М. Астангов (I)

…Спустя несколько лет я снова рисовал Астангова.

На этот раз он приехал ко мне. Приехал и сразу, с порога заговорил.

— Наконец-то! Наконец-то я сыграю Гамлета! Репетирую днем и ночью. Репетирую дома, в театре, в автобусе, везде. Посмотрите, — он встал и прошелся по комнате, стройный и гибкий, — я еще гожусь для этой роли. Впрочем, — добавил Астангов, — Гамлет — роль не возрастная, а глубинная.

Я поздравил его и спросил о дне премьеры.

— Дата еще не назначена, — ответил он.— Все зависит от того, как пойдет работа.

И хоть голос звучал молодо, я вдруг увидел во всем его облике накопленную годами усталость.

На премьеру я не попал. Помешала болезнь. Если судить по рецензиям, спектакль имел успех. Но…

Летом 1964 года мы случайно снова встретились в актерском доме отдыха в Рузе. Там есть маленькое кафе с уютным названием «Уголек». В нарушение врачебных запретов мы заказали по рюмке коньяку и чашке кофе.

Я высказал сожаление, что мне так и не удалось посмотреть Гамлета.

— Не беда, — сказал Астангов. — Конечно, в спектакле есть много такого, чего я не смог бы сделать лет тридцать назад. И все же, — Астангов встал и раскрыл ладонь, как будто держал череп Иорика, — и все же счастлив актер, когда он играет заветную роль своевременно. Только ему дано ответить на этот вопрос.

Улыбка Светлова

Мне бы молодость повторить.
Я на лестницах новых зданий
Как мальчишка хочу скользить
По перилам воспоминаний.

М. Светлов.

(из книги «Музей друзей».)

* * *

— Красивым я получаюсь только на шаржах, — улыбаясь, сказал Михаил Аркадьевич.

Он сказал это на одном из пленумов Союза писателей. Я рисовал, а к нему подходили десятки людей.

Около двадцати лет я наблюдал поток людей, тянувшихся к Светлову. Молодые, старые, знаменитые, неизвестные… Шли домой, подходили на улице, в клубе, в театре…

Человек легендарный уже при жизни, он был удивительно прост и доступен. Он и сам искал общения с людьми. Даже когда работал. Написав стихи, он тут же читал их кому-нибудь. Если поблизости никого не было, звонил по телефону друзьям. Звонил иногда среди ночи.

Разбуженный однажды ночным звонком, я спросил его:

— А ты знаешь, который час?

— Дружба, — ответил Светлов, — понятие круглосуточное.

Иной раз при встрече он извлекал листок бумаги и читал строфу, а иногда только строчку.

— Как? — спрашивал он. И добавлял: — По-моему, может получиться стихотворение…

К этому привыкли и всегда ждали или новых стихов, или реплику — то лукавую, то ироническую, и всегда окрашенную любовью к людям.

Особенно Светлов любил молодежь. Комсомолец двадцатых

годов, он оставался им и в сороковых и в шестидесятых.

— Это скверно, — как-то пошутил Светлов, — что придумали метрики и разделили людей на молодых и старых.

И уже серьезно добавил:

— Все люди — одного возраста. Только одни обременены опытом, а другим его не хватает. Делясь опытом, ты делаешь молодых взрослее и сам становишься моложе.

Светлов щедро дарил свой опыт, но учил, а не поучал, и молодежь открывала ему свои сердца.

Сколько поэтов, теперь широко известных, гордятся своей близостью к Светлову.

— Я — ученик Светлова, — писал Смеляков.

— Я пришел к нему метростроевцем, — рассказывает Сергей Смирнов.

— Прежде чем опубликовать новые стихи, я думаю, что сказал бы о них Михаил Аркадьевич, — говорит Марк Соболь.

Творчество Светлова всегда будет освещать сердца читателей романтикой эпохи, певцом которой был поэт. Изучение его — благодарная и увлекательная задача для ученых-литературоведов.

Но лишь те, кто встречались с ним лично, знают, какой это был удивительный человек.

Кто-то сказал: «Если бы даже он не был выдающимся поэтом, а просто присутствовал среди людей, они от этого становились бы лучше».

Светлов не был ханжой и святошей. Он любил и рюмку вина за дружеским столом и острую шутку. Веселая мудрость Светлова переходила из уст в уста и бытовала как фольклор.

Мне выпало счастье общения и дружбы со Светловым на протяжении двух десятилетий.

И я хочу поделиться с читателем очарованием этих встреч.

Неравный брак

В 1958–1959 годах мы со Светловым работали над книгой шаржей и эпиграмм «Музей друзей».

Юрист издательства, составляя договор, написал в графе «Авторы»: «И. Игин и М. Светлов с солидарной ответственностью». Это означало, что Светлов не может сдать текст без рисунков, а у меня не примут рисунки без текста.

К договорному сроку рисунки были готовы, а Светлов и не начинал работать.

— Не волнуйся, старик, — с убежденностью говорил он. — Я к тебе приеду и быстро все сделаю.

Я терпеливо ждал, а он все не ехал.

Я утверждал: этих браков,
Что счастья нет в нахальном браке
М. Светлов

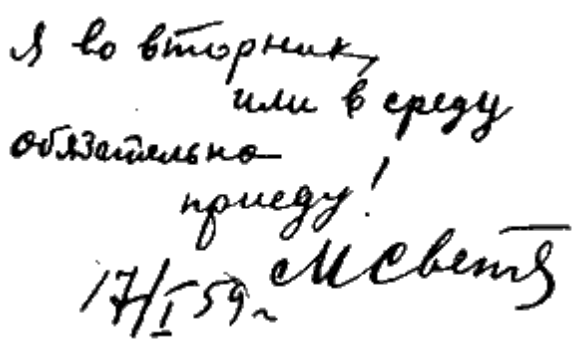
Однажды, встретив его в ЦДЛ, я опросил:

— Когда же ты наконец приедешь?!

— Во вторник, — ответил Светлов.

— Пиши обязательство, —сказал я и протянул ему записную книжку.

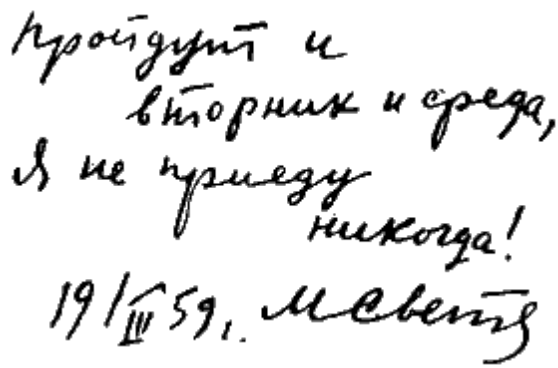
— На всякий случай сохраню один день в резерве, — улыбнулся Светлов и написал:



Он не приехал…

Спустя два месяца я снова встретил его. Произошел, что называется, крупный разговор.

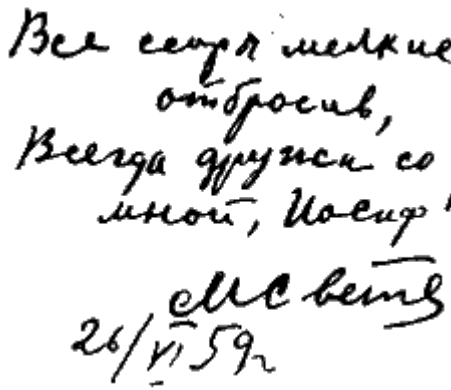
Светлов, рассердясь, написал в той же записной книжке:



Мы несколько месяцев не встречались.

Наконец я решил ехать к Светлову мириться. Но он опередил меня. Ранним июньским утром Миша приехал ко мне.

— Старик, — бодро сказал он, — ты лучше поругайся с Ермиловым, — и протянул мне только что вышедшую книгу «Яблочко — песня». На титульном листе было:



Мир был восстановлен.

Светлов несколько недель работал над эпиграммами.

Книгу заканчивает рисунок, сделанный по картине Пукирева «Неравный брак». Он изображает двух авторов. К рисунку Светлов написал:

Я утверждаю: это враки,
Что счастья нет в неравном браке.

* * *

К своему пятидесятилетию Светлов написал стихотворение «Сулико». Там есть такие строчки:

…Осторожнее! Мы идем
По могилам моих друзей…

Редактор одной газеты поспешил опубликовать это стихотворение, но… с исправленной строчкой. Вместо «по могилам» было напечатано «по дорогам».

Огорченный Светлов сказал:

— Поэт стремится напоить читателя из чистого родника поэзии, но он не может это сделать прежде, чем там не выкупается редактор.

* * *

На светловском юбилее кто-то сказал:

— Я завидую не только таланту Светлова, но и его удивительной скромности. Он, как никто, умеет довольствоваться необходимым.

— Мне не надо ничего необходимого, — возразил Светлов, — но я не могу без лишнего.

* * *

— Он очень красочный человек, — сказали об одном писателе.

— Он не столь красочный, как разноцветный, — уточнил Светлов. — Лучше, если бы он был одного цвета, но определенного.

* * *

Принимали в Союз писателей поэта, человека малоспособного, но пробивного.

Светлов высказался против.

Кто-то защищал:

— Но ведь его стихи посвящены важной, солдатской теме.

— Когда я читаю хорошие стихи о войне, — возразил Светлов, — я вижу: если ползет солдат, то это ползет солдат. А тут ползет кандидат в Союз писателей.

Горизонт

Я уезжал в Ленинград. До отхода поезда оставалось несколько часов, и, не зная куда девать время, я зашел в кафе Дома актера. За одним из столиков сидел Светлов.

— Ты уже на взводе? — спросил я шутя.

— Нет, пока на отделении, — серьезно ответил Светлов.

За соседним столиком кто-то огорчался, что в меню нет осетрины на вертеле.

— Страдания молодого вертела, — усмехнулся Михаил Аркадьевич.

Настроение Светлова обещало веселую беседу. Вдруг он взглянул на часы и заторопился:

— Извини, — сказал он. — Спешу. На свидание с волшебной

девушкой. — И ушел.

Я допил свою чашку кофе и, посидев немного, тоже собрался уходить. Но случилось то, чего я меньше всего ожидал: в кафе вернулся Светлов.

— Что, — спросил я, — волшебная не пришла?

— Хуже, — удрученно ответил Светлов. — Я забыл, где мы условились встретиться.

У него при этом было такое непривычное выражение лица, что мне захотелось сохранить его в рисунке. Я вынул записную книжку, карандаш и стал делать набросок. Одновременно мы перебирали все возможные места свиданий: памятник Пушкину, Центральный телеграф, станция метро «Охотный ряд», левая колонна Большого театра… Нет, все это было не то.

Кто-то пошутил:

— Не на горизонте ли?

— Прелестно, — подхватил Светлов, — об этом можно даже стихи написать.

— Дай, — взял он у меня из рук записную книжку и написал возникшие тут же две строчки:

Мы сегодня встретимся с тобой
Там, где небо сходится с землей.

Прошло года четыре.

Мне снова надо было ехать в Ленинград. Я нашел старую ленинградскую записную книжку и, перелистывая ее: с кем бы повидаться, кому бы позвонить, — обнаружил зарисовку и эти

строки.

Стихи мне понравились. Я стал припоминать, при каких обстоятельствах они появились. Память привела меня к столику в кафе Дома актера, где мы сидели четыре года назад со Светловым. Я позвонил Светлову и прочитал ему эти две строчки.

— Кто это написал? — спросил он. — Это же готовое стихотворение.

— Вот и доделай его, — предложил я.

— А как же автор?

Я заверил, что претензий у автора не будет.

Дня через три Светлов читал мне:

Мы сегодня встретимся с тобой
Там, где небо сходится с землей…
Я бегу, желанием гоним.
Горизонт отходит. Я — за ним…
Как преступник среди бела дня,
Горизонт уходит от меня…

Вскоре стихотворение было опубликовано в журнале «Москва».

Это произошло в тот затянувшийся период, когда Светлов писал мало.

С рождением этого стихотворения как будто состоялось и волшебное свидание на горизонте. То и дело страницы «Литературной газеты», «Огонька», «Нового мира» радовали читателей светловскими стихами.

А спустя года полтора в издательстве «Советский писатель» вышла новая книга. Она называлась «Горизонт» и открывалась этим стихотворением.

* * *

О поэте, вокруг которого была создана чрезмерная рекламная шумиха, Светлов сказал:

— У него весь пар уходит на свистки, а не на движение.

* * *

Автор детективной пьесы, сразу пошедшей во многих театрах, купил массивные золотые часы с массивным золотым браслетом.

Увидев это сооружение, Светлов усмехнулся:

— Старик,— оказал он, — а не пропить ли нам секундную стрелку?

* * *

Светлова попросили написать стихи для агитплаката.

— Думаю, что это у меня не получится, — уклонился Михаил Аркадьевич и рассказал об одной встрече с Маяковским, которая на всю жизнь отбила у него охоту писать агитстихи. Я привожу этот рассказ почти дословно.

— Маяковского я любил восторженно, — сказал Светлов, — и, несмотря на его ласковое ко мне, молодому поэту, отношение, всегда понимал разницу между нами и испытывал в его обществе чувство смущения. Именно поэтому я старался не попадаться ему на глаза.

Однажды по заказу «Известий» я написал несколько рифмованных лозунгов.

На следующий день, направляясь к «дому Герцена», я увидел идущего навстречу Маяковского. Я тут же повернулся и быстро пошел в обратном направлении. Но Маяковский заметил меня и громко, на весь бульвар, крикнул:

— Светлов! Куда вы бежите?! Я вас разыскиваю!

Деваться было некуда. Я подошел к Маяковскому.

Он сухо со мной поздоровался, вынул из кармана газету и сказал:

— Читал «Известия». Вот что, Светлов: я умею агитки писать, я и пишу. А вы не умеете, и не пишите!

Помолчав немного, Светлов добавил:

— Жаль, что Маяковскому не попался навстречу кое-кто из нынешних поэтов «агитплаката».

* * *

Известная писательница в часы бомбежек проводила время в бомбоубежище за вязанием. Впоследствии она написала воспоминания о войне.

— Теперь она думает, — сказал Светлов, — что спицы приняты на вооружение.

* * *

Один назойливый молодой литератор, полагая, что Светлов его не запомнил, каждый раз при встрече с ним называл свою фамилию. Однажды, подойдя к Светлову, он по обыкновению сказал:

— Здравствуйте, Михаил Аркадьевич, я — Иванов…

— Здравствуйте, Коля, — ответил Светлов. — А я думал, что вы Вера Инбер.

* * *

Молодая писательница М. пришла к Светлову и стала читать ему свою пьесу. Он деликатно слушал.

Дочитав первый акт, М. сказала, что, вероятно, пьеса слабая и ей стыдно читать дальше.

— Тебе стыдно читать, — ответил Светлов, — а каково мне слушать?

* * *

— Поэт обязан относиться к читателю с доверием и уважением, — говорил Светлов.

В другой раз он сказал:

— Литература — это когда читатель столь же талантлив, как и писатель.

* * *

На литературном вечере после чтения стихов Светлов отвечал на записки.

Несколько записок он оставил без ответа.

— Почему вы отвечаете не на все вопросы? — раздался голос из зала.

— Если бы я мог ответить на все вопросы, — сказал Светлов, — мне стало бы неинтересно жить.

* * *

— Каждый поэт, — сказал Светлов, — мечтает написать такое стихотворение, которое хотелось бы читать шепотом.

* * *

В гостиную Дома литераторов входит видный литературный деятель.

В руке у него газета «Вечерняя Москва».

— Смотри, — говорит он, обращаясь к Светлову, — хороший был актер Володин, а умер как-то незаметно, в «Вечерке».

— Стоит ли тебе волноваться, — ответил Светлов, — ты-то умрешь по крайней мере в «Известиях».

* * *

Студент Литинститута защищал диплом. Он читал морские стихи.

Выступая с критикой этих стихов, Светлов сказал:

— От моря можно брать ясность, синеву, грозность… Но зачем же брать воду?

* * *

В кафе сидят Михаил Светлов, поэт С. и девушка.

С. читает стихи. У растроганной девушки на глазах появляются слезы. Она долго ищет в сумке платочек и не находит его. С. галантно предлагает свой. Девушка прикладывает платок к глазам и возвращает. На платке мокрое пятнышко. С. смотрит на пятнышко и патетически произносит:

— Я уношу твою слезу!

Светлов усмехается:

— И буду ждать тебя внизу!

На колоннах переделкинского Дома творчества прилепились два ласточкиных гнезда.

Я застал Михаила Светлова за очень странным занятием. Добрый человек замахивался палкой на… птицу.

— Черт знает, что тут делается, — показал он на гнезда. — Они начали строиться одновременно. Но, видишь, одно почти закончено, а другое, как наш жилкооператив, застряло где-то на фундаменте.

— Выходит, что ласточки, как люди, — сказал я, — одна труженица, а другая — лодырь.

— Не-не-не!—перебил Светлов. — Все наоборот. Та, которую ты определил в лодыри, летает куда-то, приносит в клювике глину и не покладая крыл лепит и лепит свой домик. Но только она отправляется за стройматериалом, как вторая отдирает еще влажный комочек глины и приклеивает к своему гнезду. И получается, что труженица никак не может построить дом, а у тунеядки стройка идет полным ходом.

Вот я и сижу здесь на страже интересов трудящихся, отгоняя воровку палкой. А ты говоришь, что ласточки похожи на людей. Разве люди могут себе позволить такую пакость?

* * *

Об одном поэте-маринисте Светлов сказал: — Он стоит по горло в луже и думает, что ему море по колено.

* * *

— Главный помощник воспитателя — юмор, — говорил Светлов.

Во вступлении к своей книге «Я — за улыбку» он приводит два примера из практики воспитания собственного сына:

«Однажды я вернулся домой и застал своих родных в полной панике. Судорожные звонки в «неотложку» : Шурик выпил чернила.

— Ты действительно выпил чернила? — спросил я.

Шурик торжествующе показал мне свой фиолетовый язык.

— Глупо, — сказал я, — если пьешь чернила, надо закусывать промокашкой.

С тех пор прошло много лет — и Шурик ни разу не пил чернила.

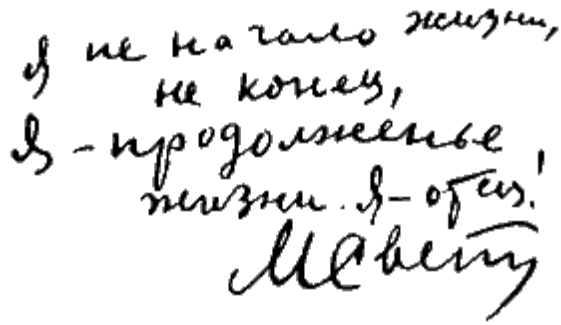
В другой раз я за какую-то провинность ударил сына газетой. Естественно, боль была весьма незначительной, но Шурик страшно обиделся:

— Ты меня ударил «Учительской газетой», а ведь рядом лежала «Правда».

Тут-то я и понял, что он больше не нуждается в моем воспитании».

Светлов нежно любил Шурика. Еще с маленьким он обращался с ним как с равным. Их связывала крепкая мужская дружба.

Во время одной из наших бесед Светлов взял листок бумаги и написал:



* * *

Возле своего дома, на улице Горького, Светлов встретил композитора К.

— Что-то не работается, — сказал К. — Зайду в коктейль-холл, вытяну бокал-другой коктейля.

— Утопающий хватается за соломинку, — улыбнулся ему вслед Светлов.

* * *

Для поколенья, не для населенья,
Как золото минуты собирай,
И полновесный рубль стихотворенья
На гривенники ты не разменяй.

(М. Светлов «Бессмертие», 1957)

Об одном преуспевающем поэте, который когда-то хорошо начинал, а потом, в погоне за славой и деньгами, стал невзыскательным к себе, Светлов сказал:

— Он начинал, как рубль, — все-таки солидная монета, потом разменялся на гривенники. Боюсь, дело кончится тем, что за него и гроша не дадут.

Впоследствии Михаил Аркадьевич задумал написать сказку о человеке с фамилией Рубль.

Произошло это так.

Мы сидели на балконе пятнадцатого этажа гостиницы «Москва».

Светлов фантазировал.

— Вообрази, — сказал он, — отсюда, с пятнадцатого этажа, на тротуар падает человек. Подбегает милиционер и видит: лежит пиджак и десять гривенников. Упавшего человека нет. Но в пиджаке находят паспорт. Выясняется, что фамилия его владельца — Рубль. Рубль разбился на гривенники.

Начинается новый рассказ. О судьбах гривенников.

О каждом гривеннике — отдельно.

У каждого своя судьба.

Один захотел послушать курских соловьев. Билет в Курск стоит дороже гривенника. Пришлось добираться пешком. В Курске опять неприятности. Без командировочного не дают номера в гостинице. Заночевал на улице. Кто-то подобрал его и разменял в трамвае на копейки. Начались новые судьбы. Судьбы копеек.

Второй гривенник стал большим начальником. Допустим — секретарем Союза писателей. Нелегкая задача для гривенника. Но он справляется. Как? Да еще как! Теперь он выглядит важнее рубля.

Третий пошел работать шофером такси. Он начал размножаться. Повернул ручку счетчика — выскочил гривенник. Довез пассажира — получил на чай гривенник…

И так о каждом…

С этого началась сказка. Светлов даже начал писать ее.

Сказка осталась незаконченной.

* * *

Поэт Сергей Орлов подарил Светлову свою книгу «Колесо».

— Старик, — сказал Светлов, — еще три колеса и… машина!

* * *

Светлов не любил актера С. и решительно избегал общения с ним. Тот, добиваясь расположения Светлова, как-то сказал:

— Я могу представить справку, что я не подлец.

— Если бы у меня была такая справка, — ответил Светлов, — я был бы подлецом.

* * *

При обсуждении повести Казакевича «Звезда» писательница А. сказала:

— Удивительно! Говорят, раньше он писал посредственные еврейские стихи, а теперь у него великолепная русская проза.

— Дорогая, — ответил ей Светлов, — не перейти ли тебе на еврейские стихи.

* * *

За столиком сидели студенты Литинститута. Спор? Нет, это был не спор. Каждый утверждал свое, но никто друг друга не оспаривал. Говорили шумно. Читали стихи, прозу… То и дело раздавалось:

— А вот у Лермонтова…

— Так мог позволить себе только Толстой…

— А помнишь, у Достоевского…

К столику подошел Светлов.

— Что мне в вас нравится, — сказал он, — это то, что вы даете друг другу слово сказать.

Все повернулись к нему.

— Здравствуйте, Михаил Аркадьевич. Скажите, а кого вы любите из русских классиков?

— Все они хорошие люди, — ответил Светлов, — но за столиком я хотел бы сидеть с Пушкиным.

* * *

Бывало, что Светлову приходилось занимать деньги в Литфонде или у друзей. Он прибегал к этому в самых крайних случаях, всегда неохотно, зная, что наступит момент, когда долг надо будет возвращать. При этом он вспоминал поговорку:

— Взаймы берешь чужие деньги и на время, а отдаешь свои и навсегда.

Однажды он пошутил:

— Занимать деньги надо только у пессимистов. Они заранее знают, что им не отдадут.

* * *

Один восторженный поклонник Светлова, знакомясь с ним, воскликнул:

— Боже мой, передо мной живой классик!

— Что вы, — ответил Светлов. — Еле живой.

* * *

Борис Бялик рассказывает такой эпизод.

Во время войны они со Светловым были на передовой. Светлов читал бойцам стихи. Начался воздушный налет. Бомбы падали близко, но никто не ушел в укрытие. Светлов дочитал стихотворение до конца.

К счастью, все кончилось благополучно, и никто не пострадал.

Бялик опросил его:

— Неужели тебе не было страшно?

— Нет! — ответил Светлов. — Но я заметил, что в этом стихотворении есть длинноты.

* * *

В пору работы над книгой «Музей друзей» Светлов и в стихах и в личных беседах часто стал обращаться к теме старости.

Тогда он и написал две первые строчки задуманного нового стихотворения.

…Пятница, Суббота, Воскресенье…
Нет у нас от старости спасенья.

Светлов много раз пытался продолжить эти стихи, но ни один вариант не удовлетворил поэта настолько, чтобы его опубликовать.

Так и остались неопубликованными эти строчки, которые сами по себе являются законченным стихотворением:

…Пятница, Суббота, Воскресенье…

Нет у нас от старости спасенья.

* * *

Очень полная, но не очень воспитанная дама, впервые увидавшая Светлова, воскликнула:

— О боже, до чего же вы худенький!

— Если бы мне ваши формы, — усмехнулся Светлов, — я заболел бы манией величия.

* * *

В долгие месяцы тяжелой болезни Светлов верил в свое выздоровление и терпеливо ждал возможности вернуться к общению с друзьями.

Он любил, когда я приносил ему в больницу шаржи и приколачивал их к стене.

Глядя на рисунки, он говорил:

— У меня создается ощущение, что я не в больничной палате, а дома.

Когда его на короткое время выписали из больницы, он по дороге домой сказал:

— Я чувствую себя птицей, которая едет в ломбард выкупать свои крылья.

* * *

Несколько слов Светлова, не помню когда и где сказанных:

— Что такое знак вопроса? Это состарившийся восклицательный.

— Только дурно воспитанный человек стремится всегда играть роль воспитателя.

Об одном поэте:

— Он — как кружка пива. Прежде чем выпить, надо сдуть пену.

В капустнике:

— Девушки выходят под музыку «Если бы парни всей земли».

— Счастье поэта должно быть всеобщим, а несчастье — обязательно конспиративным.

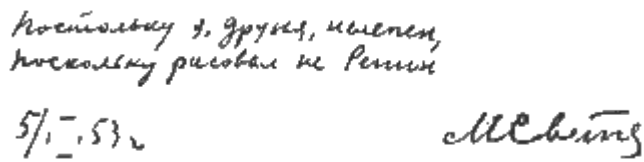
— Человек, не наделенный талантом, — если в одном не удалось, займется чем-нибудь другим.

У талантливого нет выбора.

* * *

К моим шаржам на Светлова разные поэты, в том числе и сам Светлов, написали много эпиграмм.

К шаржу, сделанному на пленуме писателей в 1953 году, Светлов написал:



Я хотел было опубликовать рисунок вместе с этой эпиграммой, но редактор сказал, что в русском языке нет такого слова — «нелепен».

— Если есть слово — «великолепен», почему же нельзя сказать «нелепен»? — возразил Светлов. — Впрочем, — добавил он, — легче написать новую эпиграмму, чем внушить редактору чувство юмора. Пусть будет так:

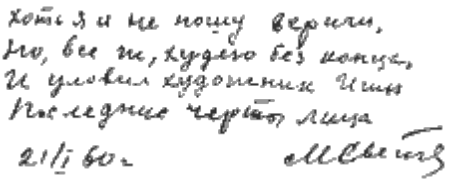
Я, в искусстве правду любя,
Убедился сегодня снова —
Как приятно после тебя
Видеть Репина и Васнецова.

Ко дню его рождения в 1956 году я нарисовал Светлова в позе и одеянии Джиоконды. В ответ на такое кощунство он предложил подписаться под рисунком: «Леонардо да Иначе». И тут же добавил:

Ну не смешно ли, — сама Джиоконда
Стала сегодня членом Литфонда.

Увидев набросок, где он изображен грустным и усталым, Михаил Аркадьевич призадумался, походил взад и вперед по

комнате и, приложив рисунок к стене, написал:



Иронически усмехается Светлов и в подписи к шаржу, сделанному в день его шестидесятилетия:

Твоею кистью я отмечен,
Спасибо, рыцарь красоты,
За то, что изувековечил
Мои небесные черты.

А вот несколько эпиграмм, написанных другими авторами.

Александр Рейжевский пришел в Центральный дом литераторов в тот момент, когда я рисовал на стене гостиной Михаила Аркадьевича в виде улыбающегося за окном полумесяца. Рейжевский подписал к рисунку:

Улыбается в окне
Нам луна портретом новым.
Видно, нравится луне
Это сходство со Светловым.

Ян Сашин писал автору знаменитой «Гренады»:

Поэту Светлову и слава и честь —

Гренадская область в поэзии есть!
Но много доносится жалоб:
Расширить ее не мешало б…

Вот эпиграмма Владимира Волина:

Примерно двадцать лет назад
Был зритель пьесе «Сказка» рад,
И новых пьес он ждет грустя
Примерно «двадцать лет спустя»,

К рисунку, где Светлов идет снежной ночью с поднятым воротником, Александр Раскин писал:

Светлов хорош во всякую погоду,
Да жаль, молчит он иногда по году.

Михалков, увидев эту эпиграмму, добавил:

Молчит, но если скажет слово, —
То это слово М. Светлова!

Очень трудно заканчивать эти рассказы.

Я вспоминаю, как мы со Светловым искали заключение для нашей книги «Музей друзей».

Светлов написал такие строки:

Не надо, чтоб мчались поля и леса:
Разлука — один поворот колеса.
Да, это разлука — заканчивать книгу,
Но стих посвящен не прощальному мигу…

Мы долго обсуждали, каким же должен быть конец. И решили не прощаться. Светлов закончил книгу так:

Не родственники мы, не домочадцы,
И я хотел бы жизнь свою прожить.
Чтоб с вами никогда не разлучаться
И «здравствуйте» все время говорить.